

«ТОТ НОЯБРЬ ВЕРНЕТСЯ ЗА КАЖДЫМ».

ХРОНИКИ ВОСХОД

«ТЫ... ТЫ ВСЕ РАВНО БЫ УМЕР ОТ ГОЛОДА...
СЛЫШИШЬ МЕНЯ? ТАМ НЕ БЫЛО ПТИЦ... ТРИ
НЕДЕЛИ ОДНА ХВОЯ, КОРА И ЛЕД... МЫ ПРОСТО
ХОТЕЛИ ЖИТЬ... МЫ ВСЕ ПРОСТО... ХОТЕЛИ...
ЖИТЬ...»

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

БАУМ АНДРЕЙ

Андрей Баум

Хроники Восход

«Автор»

2026

Баум А.

Хроники Восход / А. Баум — «Автор», 2026

Шесть выживших в голодном аду скрываются по миру. Но грех Того Ноября уже возвращается за каждым. Они выжили в ледяном аду Сибири и разъехались по миру. От Антарктиды до Токио они прячут свой страшный секрет, но расплата за Тот Ноябрь настигнет каждого. Безжалостно и до конца. От автора: Эта история родилась из ледяного страха перед тем, на что способен человек, поставленный на грань выживания. Холодная ночь, голод и один страшный выбор, который навсегда свяжет шестерых выживших. От прошлого невозможно сбежать — ни в лед Антарктиды, ни в неон Токио, ни в грязь Тверской деревни. Грех Того Ноября, как некротический токсин, уже в крови каждого из них, и расплата неизбежна. Это рассказ о долге, который настигнет каждого грешника.

© Баум А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Рассказ 1. «Белое безмолвие»	5
Глава 2. Сигнал из темноты	9
Глава 3. Первые подозрения	13
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Андрей Баум

Хроники Восход

Рассказ 1. «Белое безмолвие»

Глава 1. Рутинная вечная ночь

Здесь, на семьдесят восьмом градусе северной широты, время не текло. Оно замерзло. Превращалось в тяжелый, монолитный пласт серого льда, неотличимый от торосов Ис-фьорда, сковавших побережье. Полярная ночь на Шпицбергене не имела ничего общего с туманным полумраком питерских белых ночей, когда небо над Невой светится болезненным, лиловым цветом, или с уютным, бархатным сумраком средней полосы, где в четыре часа вечера уже горят фонари, но в окнах еще виден отблеск телевизора. Это была абсолютная, хищная, первобытная тьма. В октябре она неохотно выползала из скалистых расселин архипелага, наваливалась на побережье миллиардами тонн черного вакуума и отпускала свою добычу только к марту.

Эта тьма обладала физическим весом. Она давила на барабанные перепонки, забивалась под веки, лезла в рот с горьким, едва уловимым привкусом ржавого железа и застоявшегося дизельного выхлопа. Если долго всматриваться в нее, начинало казаться, что у темноты есть лицо — огромное, слепое лицо голодного бога, терпеливо ждущего, пока у тебя кончатся батарейки в фонарике. Здесь она приходила с севера, из-за Полюса, из той точки, где компасная стрелка сходит с ума и начинает крутиться, как обезумевшая.

Научно-исследовательская станция «Баренц-2» представляла собой три приземистых, угловатых модуля, обшитых грязно-зелеными композитными панелями, которые за пятнадцать лет эксплуатации покрылись слоем копти и ледяной крошки, превратившись в нечто среднее между подводной лодкой и гробом. Со стороны, если смотреть сквозь летящую горизонтально снежную крупу, они походили на три заброшенных морских контейнера, которые какой-то пьяный великан в спешке швырнул на каменистый берег, прямо к подножию сползающего ледника. Между модулями были проложены закрытые гофрированные галереи-переходы — узкие, гулкие стальные «кишки», похожие на кишечник гигантского животного. По ним можно было перемещаться из жилого блока в рубку связи или дизельную, не рискуя обморозить легкие при штормовом ветре, который здесь нередко разгонялся до безумных тридцати метров в секунду. Внутри этих переходов всегда пахло обледеневшим железом, резиновыми уплотнителями и вечным, неистребимым страхом перед тем, что внешняя гермодверь однажды не выдержит натиска, и арктический воздух ворвется внутрь, чтобы забрать всё живое.

Кирилл стоял у узкого трехслойного иллюминатора в кают-компании жилого модуля. Его пальцы, тонкие и неестественно бледные, до побеления суставов сжимали тяжелую керамическую кружку с остывшим растворимым кофе — дешевым, «Якобс», который закупали оптом в Мурманске и который на вкус напоминал жженую резину, разведенную в грязной воде. За толстым стеклом не было видно ничего, кроме плотного, нескончаемого шлейфа сухой ледяной пыли, летящей в луче мощного мачтового прожектора. Желтый луч безнадежно пытался разрезать арктический мрак, но его свет лишь вяз в белой круговерти, создавая удушную иллюзию того, что станция оторвалась от земли и несется куда-то сквозь космическую пустоту, в самую пасть преисподней.

Кириллу было двадцать девять лет, но когда он случайно бросал взгляд на свое отражение в мутном зеркале над раковиной, он видел человека без возраста. Или, скорее, человека, кото-

рый уже прожил свою настоящую жизнь и теперь просто донашивал чужую, пустую оболочку, как старую шинель, снятую с мертвеца. Бледная, почти прозрачная кожа, сквозь которую синевой просвечивали вены на висках; глубокие, темные впадины глазниц от вечной, изнуряющей бессонницы; жесткая, неухоженная щетина, придавшая его лицу выражение затравленного бродяги. Его взгляд был пустым. Это был тот самый взгляд, который часто встречался у людей, заглянувших за изнанку привычного мира — взгляд на две тысячи метров, устремленный сквозь предметы, сквозь людей, сквозь саму реальность, прямо туда, где на дне памяти копошились черные черви прошлого.

Он приехал на Шпицберген три года назад, осознанно выбрав самый изолированный, самый глухой и паршивый контракт из всех, что предлагал институт метеорологии. Ему платили копейки — тридцать тысяч в месяц, с учетом полярных надбавок, и то с задержками. Но Кириллу было плевать на деньги. Здесь, среди сотен километров вечной мерзлоты и ледяного безмолвия, действовало главное, негласное правило, ради которого он пересек половину земного шара: здесь не было лишних людей. Здесь вообще не было людей, кроме одного-единственного напарника. И, что являлось для Кирилла самым важным, самым сокровенным условием его хрупкого душевного спокойствия — здесь еда не была тем, за что нужно бороться. Она была скучной, консервированной, расфасованной по коробкам рутиной. Она приходила в герметичных упаковках, с этикетками, датами изготовления и сроками годности.

Но именно эта рутина сейчас трещала по швам.

Внутри «Баренц-2» медленно, но верно разрастался невидимый нарыв. Отношения между двумя полярниками, запертыми в консервной банке посреди полярной ночи, натянулись до предела, превратившись в звенящую стальную струну, готовую лопнуть от малейшего шороха. Причиной тому была жесточайшая сенсорная депривация — бич всех полярных зимовок, та самая штука, из-за которой на станциях «Северный полюс» сходят с ума, начинают стрелять в товарищей или просто выходят в буран без одежды и идут в темноту, пока не упадут от истощения или холода. Когда вокруг тебя месяцами нет ничего, кроме черного неба, белого снега и мертвого гула дизельного генератора, человеческий мозг начинает дичать. Он теряет ориентиры. Звуки становятся громче, тени — длиннее, а чужие привычки превращаются в личные оскорбления. Ты начинаешь слышать, как напарник дышит. Как он глотает. Как у него скрипят суставы. И это сводит с ума быстрее, чем любая изоляция.

Напарник Кирилла, Семеныч, был полной его противоположностью. Это был грузный, массивный старик за шестьдесят, с кустистыми сивыми бровями, из-под которых на мир смотрели маленькие, хитрые и злые глазки, похожие на два черных изюма в тесте. Его лицо, выветренное и облупленное десятилетиями работы на Крайнем Севере, напоминало кусок старой дубленой подошвы — такое же жесткое, морщинистое и неспособное чувствовать боль. Семеныч был классическим ворчливым полярником старой закалки — бесцеремонным, шумным, любящим давить своим ветеранским авторитетом и презирающим любую слабость. Он зимовал здесь тридцать лет, пережил четыре инфаркта, две операции по удалению обмороженных пальцев и одну — по удалению аппендицита, которую ему делал сам врач станции, пока тот не спился и не повесился в дизельной. Семеныч знал про Арктику всё: как вести себя при медведе, как чинить генератор в сорокаградусный мороз, как не сойти с ума от темноты. И он презирал Кирилла за то, что тот был слаб. За то, что тот не умел материться так, чтобы стекла дребезжали. За то, что тот прятал глаза.

Семеныч сидел за колченогим столом, привинченным к полу кают-компания, и с нарочитым, чавкающим звуком ел из жестяной банки тушенку — «Говядину отборную», первый сорт, которую он берег для особых случаев. Этот звук — шуршание ложки по металлическому дну, чавканье, тяжелое сопение, громкое отрывание — заполнял всю комнату, заставляя Кирилла внутренне сжиматься в тугий, болезненный узел. Каждое движение старика казалось

Кириллу спланированной провокацией. Каждое чавканье — личным оскорблением. Каждое сопение — насмешкой над его слабостью.

— Чего ты там застыл у окна, Крупа? — хрипло проворчал Семеныч, не поднимая головы от банки. Он с самого первого дня переименовал фамилию Кирилла — Крупнов — в это короткое, колючее прозвище, и в его устах оно всегда звучало как издевка, как плевок в спину. — Опять свою темноту караулишь? Насквозь ведь стекло прожжешь своим взглядом-то. Иди жрать, остынет всё. И так на человека не похож стал — кожа да кости, краше в гроб кладут. Ветер дунет — ты и полетел.

Кирилл не обернулся. Он продолжал смотреть в метель, чувствуя, как внутри него поднимается знакомая, горячая волна тошноты. Тошнота эта была не физической — желудок его был пуст уже третий день. Это была тошнота психологическая, та самая, что приходила каждый раз, когда кто-то при нем начинал есть. Особенно — мясо. Особенно — "вслух".

— Я не хочу есть, Семеныч, — тихо ответил он. Его собственный голос показался ему плоским и чужим, словно доносился из глубокого колодца, со дна которого смотрело вверх чье-то мертвое лицо. — Кофе допью и пойду журналы заполню.

— Не хочет он... — Семеныч со стуком швырнул ложку на стол, так что она подпрыгнула и упала на линолеум. — Тьфу на тебя, смотреть тошно! Ты скоро от ветра шататься начнешь. Из-за твоих диет мне потом твою тушу на себе таскать, если у метеомачты штормом прижмет? Жрать надо, парень. На Севере без сала в брюхе — ты труп через два часа. Я тебе как врач говорю. — Он усмехнулся своей шутке, и эта усмешка была хуже любого оскорбления.

Старик поднялся, тяжело шаркая ногами по линолеуму, подошел к плите, взял большую эмалированную кастрюлю, в которой плавали остатки утреннего жирного супа — густого, с плавающими кусками картошки и какими-то подозрительными, похожими на хрящи, обрывками. Семеныч посмотрел в кастрюлю, хмыкнул, и с глухим, резким стуком закрыл её тяжелой металлической крышкой. После чего убрал кастрюлю в темный, непрозрачный навесной шкаф, с треском захлопнув дверцу.

Этот стук крышки отозвался в сознании Кирилла настоящим взрывом.

Внутри него мгновенно, с яростным щелчком сработал старый, неизлечимый бзик — его персональный триггер, его проклятие, его личный ад, который он носил с собой пятнадцать лет. У Кирилла был панический, иррациональный, доводящий до липкого пота страх перед закрытыми кастрюлями, пустыми посудинами и спрятанной, невидимой едой. На его личной полке в жилом модуле все коробки с галетами, все банки со сгущенкой всегда стояли исключительно вскрытыми, с отогнутыми металлическими крышками, выставленные в ряд, на виду. Ему жизненно необходимо было ежесекундно видеть, что еда есть. Что она доступна. Что она не спрятана, не заперта, что за нее не нужно будет драться, вырывать из чужих рук...

Когда Семеныч прятал посуду или закрывал крышки, у Кирилла внутри начинала вить невидимая, оглушительная сирена. Разум заволакивало багровой пеленой. Ему казалось, что если еду закрыли, она исчезла навсегда. И тогда... тогда вернется он. Тот самый Голод из ноября две тысячи одиннадцатого года, когда в занесенном бураном «Восходе-4» они, обезумевшие дети, сидели вокруг пустых котелков, и взгляды их старших товарищей постепенно становились оценивающими, плотоядными. Тогда, когда еда закончилась, и пришлось платить за тепло. Тогда, когда Матвей взял в руки нож. Тогда, когда Алина разожгла костер. Тогда, когда Кирилл тянул жребий.

Кирилл резко повернулся от окна. Его дыхание стало частым, прерывистым. Пальцы так сильно сжали кружку, что по старой керамике поползла тонкая, едва заметная трещина, и горячий кофе обжег ему кожу, но он не почувствовал боли.

— Открой, — хрипло, с трудом сдерживая подступающую истерику, выдавил из себя Кирилл.

Семеныч, уже собиравшийся выйти из кают-компаний, остановился в дверях и медленно обернулся. Его густые брови сошлись на переносице, образуя сплошную волосатую линию, похожую на гусеницу.

— Чего? — переспросил старик, прищулив глазки.

— Открой кастрюлю, Семеныч, — Кирилл сделал шаг к столу. Его голос дрожал, в нем проступали безумные, умоляющие и одновременно опасные нотки, те самые нотки, которые он слышал в собственном голосе пятнадцать лет назад, когда просил у Матвея еще одну «долю».

— И шкаф открой. Не надо закрывать. Пожалуйста. Пусть стоит открытым.

Семеныч несколько секунд молча смотрел на него. В его взгляде не было ни сочувствия, ни понимания — только холодное, клиническое любопытство, с которым энтомолог разглядывает редкого жука, прежде чем приколоть его булавкой к картонке. А затем его лицо исказила презрительная, жесткая усмешка. Он покачал головой, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на брезгливость, смешанную с торжеством. Он любил находить слабости у других, это давало ему суррогат власти в этом замкнутом, Богом забытом месте.

— Да ты точно ебанулся, Крупа, — тихо, с наслаждением произнес старик, и каждое слово было как плевок. — Совсем кукуха потекла от темноты-то? Суп скиснет, если его открытым держать, придурок. И шкаф я закрою, потому что из него сквозняком тянет. Хватит мне тут свои тюремные замашки устраивать. Иди лечись, метеоролог хренов.

Семеныч развернулся, демонстративно хлопнул дверью кают-компаний и ушел по галерее в сторону дизельного отсека, тяжело топая своими огромными сапогами. Топот его удалялся, затихал, но Кириллу казалось, что этот топот будет звучать в его голове до конца жизни.

Кирилл остался один посреди гулкой, пахнущей прогорклым жиром комнаты. Удары сердца отзывались в его висках тяжелыми, кузнечными ударами. Он подошел к навесному шкафу, его руки тряслись так, что он не сразу попал пальцами по пластиковой ручке. Он рванул дверцу на себя, вытащил кастрюлю, сорвал с нее крышку и бросил её на пол. Крышка покапала по линолеуму со зловещим, дребезжащим звоном, который показался Кириллу криком замерзающего в тайге ребенка.

Он уставился на серую, подернутую слоем застывшего жира поверхность супа. Еда была здесь. Она была открыта. На секунду сирена в его голове утихла, сменившись удушливым, позорным стыдом. Кирилл упал на стул, закрыл лицо грязными от кофе ладонями. Его плечи судорожно вздрагивали. Слез не было — они давно кончились, выжженные тем, ноябрьским морозом.

Сенсорная депривация доедала остатки его рассудка. Полярная ночь за окном Шпицбергена медленно, но верно снимала с него кожу слой за слоем, обнажая то, что он так тщательно прятал — гнилое, кровоточащее нутро выжившего монстра. Он понимал, что долго так не протянет. Что Семеныч прав — он сходит с ума. Но самым страшным было не безумие. Самым страшным было то, что воцарившаяся вокруг него вечная, ледяная темнота была абсолютно, пугающе похожа на ту, из его детства. И эта темнота постепенно начинала подавать голос.

Где-то далеко, за тройными стеклами иллюминатора, завыл ветер. И Кириллу показалось, что в этом вое он слышит не арктическую метель, а детский плач — тонкий, жалобный, захлебывающийся. Плач того, кого они не пустили к костру. Плач того, чью «долю» они съели, чтобы пережить еще одну ночь.

Кирилл поднял голову. В иллюминаторе, за пеленой летящего снега, ему на секунду показалось, что он видит лицо. Маленькое, детское, с запавшими глазами и черными, как угольки, зрачками. Лицо того, кого он предал пятнадцать лет назад.

Он моргнул. Лицо исчезло. Остался только снег, темнота и вечность.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 1

Глава 2. Сигнал из темноты

Циклон, о котором предупреждали синоптики из Лонгйира, напал на Шпицберген подобно колоссальному живому существу — неповоротливому, слепому и абсолютно безжалостному. Барометр в кают-компании, этот старый советский прибор в латунном корпусе, который Семеныч привез еще в девяносто первом, вел себя так, словно сошел с ума: его стрелка не просто падала, она буквально валилась вниз, преодолевая критические деления с пугающей скоростью, словно кто-то невидимый давил на нее огромным, холодным пальцем. Станция «Баренц-2» глухо, утробно стонала. Металлические гофрированные галереи, связывающие жилой модуль с рабочими отсеками, вибрировали от напора ветра, и этот низкий, непрекращающийся гул проникал сквозь черепную коробку, оседая где-то в подкорке гнилым, липким чувством тревоги. Кирилл стоял у иллюминатора и смотрел, как темнота за окном стучится, превращаясь в нечто осязаемое, почти плотное. Снег больше не падал — он летел горизонтально, бешеными, рваными зарядами, словно кто-то швырял в станцию пригорстями битое стекло. Проектор на мачте, тот самый, что вчера еще резал ночь желтым, жирным лучом, теперь беспомощно барахтался в этой белой, ревущей стене, и его свет вяз в метели, как муха в паутине. Видимость упала до нуля. До десяти метров. До пяти. До расстояния вытянутой руки. Семеныч стоял в тамбуре, натягивая тяжелые, пахнущие застарелым потом и дегтем ходовые унты. Его грузное тело, затянутое в брезентовую штормовку, казалось втиснутым в узкое пространство прохода, и Кириллу на секунду показалось, что старик не собирается выходить наружу, а собирается застрять здесь навсегда, превратиться в еще одну деталь интерьера, в еще один ржавый болт на этой проклятой станции. Лицо старика, изрезанное глубокими морщинами, выражало угрюмую сосредоточенность. На Севере глупые люди не выживали, а Семеныч зимовал здесь уже тридцатый год. Он слишком хорошо знал, что такое арктический буран, когда видимость падает до расстояния вытянутой руки, а морозный воздух за секунды выжигает альвеолы, и ты начинаешь кашлять кровью, которая замерзает на губах, превращаясь в красные кристаллы. — Так, Крупа, слушай сюда, — Семеныч повернул к Кириллу свое обветренное, заросшее седой щетиной лицо. В его маленьких, слезящихся от вечного сквозняка глазах сквозило привычное, едва заметное пренебрежение, смешанное с чем-то новым, чего Кирилл раньше не замечал. Может быть, это была осторожность. Может быть, это было то самое холодное любопытство, с которым врач смотрит на пациента, у которого только что проявились первые симптомы неизлечимой болезни. — Я пойду сделаю обход. Надо внешние датчики вечной мерзлоты проверить и продублировать крепления на метеомачте. Если этот ураган сорвет анемометр, нас из Мурманска сожрут с потрохами. Ты остаешься на рации. Понял меня? Из рубки — ни ногой. Следи за частотой аварийного канала. Если норвежцы из Баренцбурга или наши с Пирамиды начнут запрашивать переключку — фиксируй время. Кирилл кивнул, но его тело не слушалось. Оно было ватным, чужим, словно кто-то вынул из него все кости и заменил их на свинцовые трубки. Ему не хотелось оставаться одному в этой звенящей, замкнутой коробке, где каждый шорох казался предвестником катастрофы. Но и выходить в этот ледяной ад, где только что, на цистернах, ему почудился странный, пугающий стук — будто кто-то бил железной ложкой по дну пустого котелка — было невыносимо.

— Может, мне пойти с тобой? — тихо спросил он. Его голос прозвучал как-то тускло, почти безжизненно на фоне завывающего за стеной ветра. Он сам не узнал своего голоса. Он звучал так, как звучал голос того мальчишки пятнадцать лет назад, когда он просил не закрывать дверь подвала. — Куда тебе, пойти... — Семеныч пренебрежительно сплюнул в угол настила, и плевок упал на ржавый пол с тихим, отвратительным чпоком. — Тебя сопля с носа перевесит, Крупа. Сиди на жопе ровно, грей чайник. Я через полчаса вернусь. Главное — рацию карауль. Шторм такой, что волна может поплыть, надо будет шумоподавление вручную

крутить. Ты же у нас специалист. — В этих последних словах прозвучала такая ядовитая ирония, что Кириллу захотелось схватить тяжелый огнетушитель со стены и разможжить старику голову. Но он не сделал этого. Он никогда не делал того, что хотел сделать. Он только смотрел. И считал. Старик натянул на лицо огромные очки, закрепил карабин страховочного линия на пояском ремне и с тяжелым металлическим лягом открыл внешнюю гермодверь. В тамбур мгновенно ворвался бешеный, свистящий вихрь колючего снега. Воздух в секунду поledenел, изо рта Кирилла вырвалось густое облако пара, которое тут же превратилось в ледяную крошку и осыпалось на пол. Семеныч сделал шаг в белую, ревущую пустоту, и дверь с глухим, резиновым стуком захлопнулась за ним, отрезая жилой блок от остального мира. Кирилл остался один. Тишина, воцарившаяся в жилом модуле после ухода старика, была неестественной. Она не успокаивала — она давила на уши, как это бывает на большой глубине, когда ты ныряешь в ледяную воду озера и чувствуешь, как барабанные перепонки впиваются внутрь, словно пытаясь дотянуться до мозга. Гул дизель-генератора за тремя переборками казался теперь ударами далекого, гигантского сердца, которое медленно останавливалось. Кирилл медленно прошел по узкой, темной «кишке» перехода в рубку связи. Это было крошечное помещение, до самого потолка забитое приборами: серые металлические шкафы радиостанций, мигающие блоки бесперебойного питания, сплетения толстых черных кабелей, похожих на замерзших змей, которые вот-вот оживут и бросятся на него. Здесь пахло нагретой пластмассой, озоном и старой, сухой пылью — запахом места, где время остановилось и начало разлагаться. Он сел на жесткий крутящийся стул перед главным пультом. На панели тускло светился зеленый экран коротковолновой КВ-рации. Динамик издавал ровный, монотонный, шипящий звук пустой частоты — белый шум, похожий на шелест сухой листвы или шорох миллионов песчинок, пересыпающихся в песочных часах. Этот звук обычно убаюкивал, но сейчас он заставлял нервы Кирилла натягиваться, словно струны, готовые лопнуть от малейшего прикосновения.

Он положил ладони на металлический стол. Руки были холодными, пальцы мелко дрожали. Он попытался заглушить это чувство, вспомнив свою привычную дыхательную гимнастику — вдох на четыре счета, задержка, выдох... Но это не помогало. Внутри него, глубоко в груди, разрастался холодный, склизкий комок паранойи. Многие думают, что самый страшный монстр — это тот, которого твой разум дорисовывает в темноте. Но для Кирилла кошмар был вполне осязаемым. Он имел конкретную дату и место. Ноябрь 2011 года. Закрытый поселок «Восход-4». Эвенкийский автономный округ. Место, где они совершили свой общий грех. Место, где они заплатили за тепло. Место, где они научились считать. *Раз, два, три, четыре, пять...* — считал он про себя, пытаясь успокоиться. *Шесть, семь, восемь, девять, десять...* Но счет не помогал. Счет был тем самым инструментом, который они использовали тогда, в подвале, когда распределяли «доли». Когда Матвей, их «доктор», доставал свой нож и говорил: «Сейчас посчитаем. Сейчас решим, кто сегодня работает». И Кирилл, самый младший, самый худой, самый пугливый, считал. Потому что если он не будет считать, он сойдет с ума. Потому что цифры — это порядок. А без порядка... без порядка придет Голод. Вдруг белый шум в динамике изменился. Это произошло резко, без всякого перехода. Ровное шипение разорвалось сухим, хлестким щелчком статики, и Кирилл вздрогнул так, что его спина мгновенно покрылась испариной, а футболка прилипла к коже, словно он окунулся в ледяную воду. Зеленый светодиод уровня сигнала на панели прыгнул вверх, замигал, словно захлебываясь от неожиданного притока энергии.

— Баренц-2, на связи Баренцбург... — прошептал Кирилл, пытаясь убедить самого себя в том, что это просто обычный рабочий вызов. Он протянул руку к тангенте микрофона, чтобы ответить, но его пальцы замерли в нескольких сантиметрах от пластиковой коробки. Что-то внутри него кричало: не трогай. Не отвечай. Это не норвежцы. Это не наши. Это что-то другое. Из динамика донесся звук. Это был не человеческий голос. Это был ритмичный, размеренный, пугающе знакомый стук. *Тук. Тук. Тук.* Звук был сухим, металлическим. Будто кто-то

там, на другом конце невидимого провода, держал включенным микрофон и методично, с равными интервалами бил железной ложкой по дну пустого котелка. Этот звук транслировался с ужасающей четкостью, сквозь тысячи километров арктического шторма, сквозь глушилки и снежные заряды. У Кирилла перехватило дыхание. Перед его глазами поплыли багровые круги. Этот стук... Господи, этот стук он слышал во сне каждую проклятую ночь на протяжении пятнадцати лет. Это был стук, который созывал их, голодных, обезумевших от страха подростков, к костру в подвале сибирского сельсовета. Стук, который означал, что жребий брошен. Что Матвей закончил свою «работу». Что можно идти за «долей». — Прекрати... — сорвалось с разбитых губ Кирилла. Его голос прозвучал как жалкий, испуганный писк, как визг загнанной крысы. — Прекрати, это просто наводка. Это просто помехи...

Стук так же внезапно прекратился. В эфире снова повисла тишина, но это была не мертвая тишина пустой волны. Кирилл отчетливо слышал сквозь динамик чужое дыхание. Оно было тяжелым, хриплым, с характерным свистом в легких, какой бывает у человека, который долго пробыл на лютom морозе. Человек на том конце радиомоста дышал прямо в мембрану микрофона, медленно, удушающе близко, и Кириллу казалось, что этот человек стоит прямо за его спиной, дышит ему в затылок, и сейчас положит ему на плечо холодную, мертвую руку. А затем среди статического треска раздался детский плач. Это был тонкий, жалобный, захлебывающийся всхлип. Плакал ребенок — маленькая девочка, испуганная, замерзающая в темноте. Звук был настолько реальным, настолько осязаемым, что Кириллу показалось, будто эта девочка сидит прямо здесь, в углу рубки связи, за серверными стойками, поджав под себя обмороженные колени. Этот плач заставил все волоски на его теле подняться дыбом. Его кожа покрылась крупными мурашками, а к горлу подступила липкая, горькая тошнота.

— Нет, нет, нет... — Кирилл зажал уши руками, зажмурился до боли, но звук пробивался сквозь его пальцы, транслируясь прямо в мозг, в те самые отделы, где хранились воспоминания, которые он так тщательно прятал. — Это не реально. Это галлюцинация. Это просто мозг играет со мной... Плач оборвался, сменившись глубоким, судорожным вздохом, и из динамика полился голос. Это был голос, который Кирилл надеялся никогда больше не услышать в этой жизни. Голос, который должен был быть похоронен под тоннами пепла и сибирского снега. Голос, который он слышал в ту ночь, когда они поняли, что еды больше нет, и единственный способ дожить до весны — это... — Раз, два, пришла беда... — запел голос. Он был тихим, монотонным, лишенным каких-либо человеческих эмоций. Так поют дети, когда играют в прятки, или так шепчут безумцы в полузабытьи. — Три, четыре, запри двери... Кирилл побледнел настолько, что его лицо стало неотличимо от цвета известки на переборке. Глаза его расширились, зрачки превратились в две крошечные угольные точки. Весь мир вокруг него перестал существовать. Не было больше Шпицбергена, не было зеленой станции, не было Семеныча, ушедшего в буран. Была только эта старая, жуткая считалочка, которую в ноябре две тысячи одиннадцатого года знали всего шестеро. Шестеро выживших детей из «Восхода-4». Эту считалочку придумала Алина в ту самую ночь, когда они поняли, что припасы кончились, что взрослые погибли в стычках за еду, что они остались одни, и что единственный способ пережить эту ночь — это закрыть двери подвала и... — Пять, шесть... — продолжал шептать голос из рации, постепенно набирая силу, становясь более близким, более осязаемым. — Пять, шесть... хочет... На полуслове сигнал резко, словно обрезанный огромными ножницами, оборвался. Зеленый светодиод на панели радиостанции мгновенно погас. Из динамика снова хлынул ровный, равнодушный, шипящий поток белого шума. Кирилл сидел неподвижно, его руки медленно сползли с ушей и упали на колени, как две перебитые плети. Он не мог дышать. Грудь сдавило стальным обручем, а в ушах продолжал звенеть этот тихий, монотонный детский шепот. «Запри двери... хочет есть...»

Это не могло быть совпадением. Радиоволны не хранят воспоминания. КВ-диапазон не умеет транслировать чужие кошмары. Кто-то там, за пределами этой ледяной пустыни знал о

его прошлом. Кто-то знал, кем он был до того, как стать Кириллом Крупновым, тихим метеорологом без прошлого. Кто-то знал про ту считалочку. Про тот подвал. Про тот костер. Про ту ночь, когда они закрыли двери и... "Мы просто хотели выжить" — шептал его внутренний голос, но этот голос звучал уже не как оправдание, а как скрежет зубов. "Мы не виноваты. Это все Голод. Мы просто закрыли двери, чтобы выжить." Но кто-то не согласен с этой версией. Кто-то помнит всё. Кто-то помнит, как они тянули жребий. Как они считали. Как они распределяли «доли». Кто-то помнит, что они не просто выжили — они заплатили за тепло. Они заплатили за костер Алины. Они заплатили за работу Матвея. Они заплатили за тишину Кирилла. Кто-то пришел за ним. За стеной, во внешнем мире, с новой силой завыл ураган, и Кириллу показалось, что в этом вое он отчетливо различает торжествующий, безумный смех. Смех тех, кого они не пустили к огню. Смех тех, чью «долю» они съели. Смех тех, кто теперь пришел забрать свое. Кирилл медленно поднял голову. В иллюминаторе, за пеленой летящего снега, ему на секунду показалось, что он видит лицо. Маленькое, детское, с запавшими глазами и черными, как угольки, зрачками. Лицо того, кого они предали пятнадцать лет назад. Он моргнул. Лицо исчезло. Остался только снег, темнота и вечность. КОНЕЦ ГЛАВЫ 2

Глава 3. Первые подозрения

Ветер за бортом не выл, а давил на обшивку станции с тяжестью океанской впадины, превращая модуль «Баренц-2» в герметичный пузырь, дрейфующий в черном вакууме полярной ночи. Внутри рубки связи тишина была еще плотнее, чем снаружи, потому что она состояла не из отсутствия звука, а из присутствия страха, который Кирилл чувствовал кожей, как изменение атмосферного давления перед грозой. Он сидел в кресле, ставшем продолжением его тела за полтора года зимовки, и смотрел на мертвый экран радиации, где еще минуту назад пульсировала зеленая точка спутникового терминала, а теперь зияла лишь черная дыра отсутствия связи, похожая на выколотый глаз. Циклон пришел не предупреждением синоптиков, а физическим ударом, от которого стальной каркас станции вздрогнул всем своим существом, передавая вибрацию через подошвы ботинок прямо в позвоночник, и в этом дрожании металла читалось безразличие стихии к двум людям, запертым в консервной банке на краю света.

Кирилл не двигался, потому что любое движение сейчас казалось бы предательством, нарушением хрупкого равновесия, которое удерживало его рассудок от окончательного распада. Связь с материком пропала не постепенно, а мгновенно, словно кто-то перерезал пуповину, соединявшую их с цивилизацией, и теперь они остались вдвоем в пространстве, где время измерялось не часами, а ударами сердца и глубиной нарастающей паранойи. Он знал, что Семеныч вернулся, еще до того, как услышал звук гермодвери, потому что тело почувствовало изменение в воздухе, смещение масс, появление чужого присутствия, которое больше не было привычным и понятным присутствием напарника, а стало чем-то иным, необъяснимым, от чего волосы на затылке поднялись, как у зверя, почуявшего хищника.

Полтора года он жил бок о бок с этим человеком, изучил его повадки лучше, чем собственные, знал каждый звук его шагов, каждый оттенок кашля, каждую интонацию ворчания, но сейчас в тамбуре стояла тишина, которая не принадлежала Семенычу, которого он знал. Не было тяжелого топота сапог, сбивающих снег, не было кряхтения при отстегивании карабина, не было влажного кашля, вырывающегося из груди, прокуренной за десятилетия Беломором. Было лишь тихое, почти невесомое шуршание ткани и размеренное дыхание человека, который не устал от бурана, не замерз, не промок, а просто переместился из одной точки пространства в другую с грацией, совершенно несовместимой с его возрастом и комплекцией. Кирилл повернул голову, и движение это далось ему с трудом, словно шея была сделана из ржавого железа, а в поле зрения возникла фигура старика, стоявшая в проеме галереи и освещенная лишь мертвенно-зеленым светом дежурных светодиодов, превращавшим знакомое лицо в маску незнакомца.

Семеныч смотрел на него не как на человека, а как на объект, и в этом взгляде не было ни злости, ни презрения, ни усталости, которые Кирилл привык видеть и которые, как ни странно, были понятнее и безопаснее этого нового, стерильного, клинического спокойствия. Глаза старика блеснули в полумраке, как два мокрых камня на дне колодца, и в их глубине не отражался свет ламп, а поглощался, растворялся, исчезал, оставляя лишь ощущение бездонности, в которой тонуло всё живое. Штормовка висела на крюке, и с нее капала вода, отмеряя ритм, похожий на метроном, отсчитывающий секунды до чего-то неизбежного, а сам Семеныч стоял неподвижно, заложив руки за спину, и эта поза была позой не полярника, вернувшегося с обхода, а надзирателя, проверяющего подопытного.

— Ну что, Крупа, — произнес он голосом, который Кирилл не узнал, потому что в нем не было ни хрипоты, ни грубости, ни привычной интонации старого ворчуна, а была лишь мягкая, вкрадчивая ровность, звучащая страшнее любого крика. — Радию караулишь? Как эфир?

Слова эти упали в тишину рубки, как камни в воду, и Кирилл почувствовал, как горло перехватывает спазм, а язык прилипает к нёбу, превращаясь в сухой, бесполезный кусок плоти.

Ему пришлось сделать сознательное усилие, чтобы сглотнуть вязкую слюну с привкусом железа и оторвать язык от нёба, прежде чем он смог выдавить из себя ответ, прозвучавший чужим, механическим, рожденным не волей, а рефлексом выживания.

— Связи нет, — сказал он, и голос его был плоским, лишенным эмоций, словно принадлежал не ему, а какому-то постороннему человеку, наблюдавшему за происходящим со стороны. — Спутник лег. Буран перекрыл сигнал.

Три секунды тишины растянулись в вечность, и за это время Семеныч не моргнул, не отвел взгляда, не изменил выражения лица, а лишь продолжал смотреть сквозь Кирилла, внутрь его черепа, сканируя содержимое с тем же бесстрастным интересом, с каким энтомолог разглядывает жука под стеклом. Потом он сделал шаг вперед, и шаг этот был абсолютно бесшумным, потому что тяжелые унты скользили по линолеуму без единого скрипа, без единого стука, перенося вес тела с текучей плавностью, которая была невозможна для ста килограммов живой плоти и костей, и в этой невозможности таился ужас, превышающий любой рациональный страх.

— Помехи, говоришь, — тихо отозвался старик, и в этом отзыве не было вопроса, а было лишь подтверждение того, что он уже знал, уже решил, уже запланировал. — Ты сиди, карауль. Я в дизельную. Левый агрегат проверить. Обороты плавают. Свет нужнее воздуха.

Он развернулся и растворился в темноте перехода, как тень, как призрак, как нечто, никогда не бывшее человеком, и дверь в технический модуль закрылась за ним с мягким щелчком, оставив Кирилла наедине с тишиной, которая теперь была не просто отсутствием звука, а присутствием угрозы. Тело разблокировалось, и дрожь, начавшаяся с кончиков пальцев, охватила его целиком, поднимаясь по рукам, сковывая плечи, стискивая челюсти, пока зубы не закрипели эмалью о эмаль, грозя раскрошиться от напряжения. Внутри не было мыслей, не было анализа, не было плана, была лишь животная, непреодолимая потребность действовать, разрушить невыносимую неопределенность, найти доказательство того, что он не сошел с ума, что его страхи имеют основание, что реальность существует.

Он встал на непослушных ногах, которые казались чужими, ватными, словно он только что очнулся после наркоза, и колено хрустнуло звуком, прозвучавшим в тишине как перелом кости. Фонарик телефона зажегся лишь с третьей попытки, потому что пальцы не слушались, и узкий луч света выхватил из темноты клубы пыли, паутину в углах, сплетения кабелей, похожих на мертвых змей, пока руки лезли в щели между приборами, под трансформаторы, в забытые ниши, куда годами не заглядывала живая рука. Пальцы обжигались о горячий металл, и боль была острой, настоящей, подтверждающей реальность, становящейся якорем в море паники, не позволявшей рассудку окончательно соскользнуть в бездну.

Ящики стола выдвигались и перебирались с лихорадочной быстротой, являя свету пожелтевшие метеосводки, ржавые гайки, пустые пачки из-под сигарет, стопки кроссвордов, сложенных с маниакальной аккуратностью, но среди всего этого не было ничего, что объясняло бы происшедшее, никаких проводов, уходящих в стену, никаких магнитофонов, никаких передатчиков. Взгляд упал на узкий металлический шкафчик в углу, похожий на те, что стоят в школьных раздевалках, и рука дернула ручку, вызвав жалобный скрип петель, похожий на крик птицы. На верхней полке стоял термос с облупившейся краской и пачка табака, на средней лежали радиолампы и изолента, но на нижней, в самом дальнем углу, скрытом тенью и придавленном старой кобурой, лежал блокнот, при виде которого пальцы замерли в сантиметре от переплета, не решаясь коснуться его, словно он был раскаленным.

Кожа переплета была грубой, темной, выделанной наспех, с порами, похожими на шрамы, а углы стерты до белесых нитей, до самой основы, и туго перетянутая резинка врезалась в страницы, оставляя желтые следы времени. От блокнота исходил запах не пыли и старой бумаги, а табака, машинного масла и чего-то органического, теплого, живого, запаха человека, который носил эту вещь с собой годами, прятал, берег, как реликвию, как оружие, как доказательство.

Этот блокнот не был теми дешевыми тетрадами в клетку, в которых Семеныч обычно писал, лежащими на виду, потому что этот был спрятан, этот был другим, этот был настоящим, и когда пальцы наконец коснулись переплета, кожа оказалась теплой и чужой.

Резинка лопнула с сухим щелчком, превратившись в бесполезный кусок резины, и страницы раскрылись сами, словно ждали этого момента пятнадцать лет, словно знали, что их найдут именно сейчас, именно здесь, когда защита пала и тайна больше не могла оставаться скрытой. Бумага была плотной, шершавой, желтоватой, цвета старой слоновой кости, а почерк оказался мелким, убористым, машинописным, не Семеныча, не корявым, не живым, а ровным, выверенным, безличным почерком человека, составляющего рапорты для тех, кто принимает решения о жизни и смерти, не глядя в глаза тем, кого эти решения касаются.

Глаза бежали по строчкам, не читая, а сканируя, выхватывая фрагменты, и тело узнало координаты раньше разума, а холодок в животе стал льдом, заморозившим кровь, когда взгляд наткнулся на слова о спецпоселке «Восход-4», являвшемся объектом ликвидации и консервации, и на дату, обведенную жирным красным маркером, ярким как свежая кровь на снегу: ноябрь две тысячи одиннадцатого года. Под датой шел список из шести фамилий, и напротив первых четырех фамилий стояли короткие, деловитые пометки, страшные своей канцелярской обыденностью. Напротив имени Алины стоял жирный вопросительный знак, незавершенность которого повисла в воздухе как угроза, а на шестой строке была написана его настоящая фамилия, та, которой нет в паспорте, та, которую нельзя произносить вслух, та, которая была выжжена из памяти вместе с тем ноябрем, и напротив неё стояло одно слово: «НАБЛЮДЕНИЕ».

На полях свежими, еще влажными чернилами было написано о пятнадцати месяцах изоляции, о стабильно ухудшающемся психоэмоциональном состоянии объекта, об эффективной работе триггеров голода и депривации, о близости объекта к финалу и ожидании реакции на внешний радиосигнал под названием «Считалочка». Блокнот выпал из рук, ударившись о линолеум глухим звуком выстрела в тишине, звуком приговора, и тело парализовало, а мыслей не осталось, было лишь слово, выжженное на сетчатке, пульсирующее в такт сердцу, ставшее единственным содержанием сознания. Они знали всё это время, Семеныч был не напарником, а надзирателем, куратором, экспериментатором, и пятнадцать месяцев записей фиксировали срывы, страхи, бессонницу, ножи, кастрюли, сигнал, считалочку, ломание, доламывание, финал, реакцию, объект.

Из коридора донеслось тихое скольжение, означавшее возвращение, и паника пришла не как эмоция, а как рефлекс, включивший тело автоматически, минуя сознание. Руки подняли блокнот с пола, уложили на место, придавили кобурой, натянули новую резинку, захлопнули дверцу, отошли к пульта, сели в кресло, сжали кулаки, вогнули ногти в кожу, создавая боль и контроль, надевая маску видимого покоя. Семеныч вырос в проеме, и время потеряло смысл, растянулось, а его взгляд скользнул по лицу Кирилла, по разбросанным картам, по перевернутому креслу, по открытым ящикам, по шкафчику, ничего не пропустив, ничего не спросив, и на губах появилась улыбка знания, результата, подтверждения гипотезы.

— Ну что, Крупа, — тихо спросил он, потирая узловатые пальцы с шершавой кожей, издавая звук трения, похожий на шепот. — Не нашел источник помех? Буран разыгрался. Долгая ночь предстоит.

Кирилл сидел с сжатыми кулаками и ногтями, режущими кожу до крови, смотрел в глаза, видел, понимал, что лабиринт замкнулся, стены сомкнулись, выхода нет, а выбор бинарен и лишен полутонов между смертью здесь, в этой железной коробке посреди полярной ночи, и возвращением туда, в ноябрь, к костру, к жребию, к тому, кем всегда был. За стеной выл ветер, и в его вое, сквозь гул трансформаторов, сквозь стук сердца, сквозь тишину рубки, проступил детский, тихий, монотонный, неизбежный ритм считалочки о том, что раз-два пришла беда, три-четыре запри двери, пять-шесть хочет есть.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 3

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.